

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИННА СОЛОВЬЕВА

★

ПРОБЛЕМЫ И ПРОЗА

(Заметки о творчестве Владимира Тендрякова)

Владимир Тендряков — не просто «читаемый» автор. От него ждут немало. Его любят очень серьезно; он влиятелен.

О Тендрякове много пишут. Интересно, как пишут. Разговор переходит на проблемы социальные, этические без сколько-нибудь длительного торможения на разборе прозы как таковой. Разговор имеет этот уклон независимо от того, присоединяется критик к авторской точке зрения на проблему или оспаривает ее.

Так не только пишут о Тендрякове — так его читают, причем так его читают и читатели вовсе не профессиональные. Писатель сам делает все для того, чтобы его читали именно так. Его мысль сосредоточена на острых проблемах, к такой же сосредоточенности он хотел бы призвать того, кто возьмет в руки книжку.

Писателя «принимают» или «не принимают» в зависимости от согласия или несогласия с его точкой зрения на ту или иную жизненную проблему. Меньше всего спорят о художественной природе его работы.

1

Одну из первых крупных вещей — «Ненастье» (1954) — Владимир Тендряков назвал очерком. К слову сказать, такое жанровое определение носили многие произведения, отметившие собою переломные пятидесятые годы: «Районные будни» Валентина Овечкина, материалы, составившие потом «Деревенский дневник» Ефима Дороша. При переизданиях подзаголовков «очерки» обычно бывал снят, при появлении почти всегда присутствовал. Очерк — жанр

литературной разведки, опыт литературного промера «уровня воды»: как быстро она прибывает, как нарастает скорость течения, как движется дело к весне.

Тендряков писал и раньше — работал в «Огоньке». Писателем он стал в годы 1953—1956; он — одна из характерных фигур литературного процесса этих лет. Его развернуло мгновенно, пружинисто: еще «Среди лесов» (1953) — это в ряду с прочим, не выше, а в феврале 1954 года печатается «Ненастье», через несколько месяцев «Не ко двору», за пятьдесят пятый написаны «Ухабы» и «Тугой узел».

«Тугой узел», «Ухабы» уже не имели подзаголовков «очерки». Но, как и в очерках, здесь совершенно слитно движение фактов и движение мыслей. Мысль рождается тут не по индукции, не по сложной ассоциативной связи — мысль появляется на свет как немедленно требующееся объяснение факта, как его опознание, как его сопоставление со смежными фактами.

Композиция рассказов и повестей Тендрякова строится по единому принципу: нормальное течение жизни нарушается неожиданной неполадкой. Неполадка сама по себе действительно более или менее случайная. Но неполадка открывает нам неверную налаженность общего хода дел. Дождь, разлившийся над районом, где секретарствует Глухарев, — неожиданность, таких дождей старики не упомнят; но то, что Глухарев заставляет колхозников сеять вопреки собственному разумению, заставляет выбрасывать семена на верную гибель, — это не результат неполадки, а следствие где-то возникшей неверной налаженности. То, что парень, выбираясь по раскисшей, немислимой

дороге из городишка Густой Бор, попадает в аварию, — несчастный случай; но то, что Княжев, сам тянувший носилки с раненым до медпункта, не дает трактора, чтобы вывезти волокушу до самого города, и что никто не может его урезонить, и что участковый, которого просят помочь, никакой помощи оказать не может и беспокоится только о протоколе по форме, — это уже не дорожный несчастный случай...

Конкретность факта и конкретность мысли тут заодно, в поддержку друг другу. Именно эта плотность сросшихся между собой наблюдений и раздумий составляет силу прозы Тендрякова.

Композиция совпадает с системой рассуждений. Можно сказать и иначе: система рассуждений — это и есть тут композиция.

Тендряков берет какой-то драматический случай — некоторое «вспучивание» жизненной земной коры, иногда большое, иногда малое, но всегда в этом «вспучивании земной коры» ощутимы какие-то более существенные — несравнимо более существенные — тектонические сдвиги. Писатель рассматривает противодействие распирающих и сковывающих сил. Рассматривает пристально, с упорством. Поэтому действие его рассказов так долго задерживается в одних и тех же местах: в сущности, герои всей прозы Тендрякова живут по соседству. Повторяются названия: Густой Бор, Загарье. Повторяются пейзажи. Повторяясь, они будят сходные хозяйственные тревоги. Раскисшие, разъезженные дороги с утопленными в колесах слегами, со стволками, изжеванными колесами пытавшихся выбраться из грязи машин, с намертво застрявшими и терпеливо ждущими выручки грузовиками; покосы, заросшие кустарником, только на бумагах и числятся покосами. Пейзаж Вологодской области или мест по соседству, на Вятке. И хозяйственные беспокойства именно этих областей: разрушение естественного земельного цикла, болезненное превращение исконно животноводческого края в какое-то подобие зернового, планирование без учета векового опыта. Автору важно постоянство наблюдений. Кстати, опять можно упомянуть и Овечкина и Дороша: очеркисы прекращают разъезды, ищут не разнообразия впечатлений, а их последовательности. Промеры исторического течения, сделанные, кажется, в самых спокойных, самых затиш-

ных местах, дают интереснейшую шкалу изменений.

Повторим даты: 1953—1956. Время существеннейших исторических сдвигов в жизни страны, в ее хозяйстве, в ее духовном хозяйстве тоже. Сдвиги общих, глубинных, в самом деле тектонических. Связь поверхностных, ежедневных фактов с исторической, социальной основой в эти годы — как во всякие годы общественных сдвигов — это связь вплотную, впритык. Расстояние между бытовым и его исторической подосновой сокращается до минимума.

Улегшееся время возвращает этому расстоянию его протяженность. Связи житейского с историческим теряют свою прямоту, они растягиваются, они ветвятся — короче, они осложняются.

Писатель, нашедший себя в минуту исторического сдвига, может несколько растеряться, когда кончается «тектоника».

Тендряков не меняет места действия. Роман «За бегущим днем» разворачивается в знакомой местности. Его герой, учитель Андрей Бирюков, родом из Густого Бора — близ этой деревни-города случилось несчастье в «Ухабах». Районный центр Загарье, где Бирюков преподает русский язык и литературу, живет той же жизнью, что село Коршуново из «Тугого узла». Учительница Парасковья Петровна из «Чудотворной» — в подчинении загарьевского роно и ходит посоветоваться к секретарю райкома Ващенко, который действует и в «За бегущим днем» и в «Чрезвычайном». Не застав Ващенко, беседует с Кучинным — тоже персонажем из «За бегущим днем».

Любопытная вещь: если устанавливать по каким-то деталям датировку, то время действия «За бегущим днем» и того же «Ненастья», того же «Тугого узла» — одно и то же. В самом деле: Андрей Бирюков попадает в Загарье сразу после педагогического института. Когда он поступил в институт, известно: в первый послевоенный год. Стало быть, окончил его и приехал в Загарье в пятидесятом или в пятьдесят первом. А на последних страницах герой следит в небе за полетом маленькой самодельной звезды, размышляет о спутнике. Это осень пятьдесят седьмого.

Но в романе отражено не то время, которое в нем названо, а то время, когда роман писался. Роман же вышел года через три после «Тугого узла», в пятьдесят девятом.

Действие охватывает несколько лет, происходит в одном и том же знакомом писателю месте. А писатель словно забывает, какие «промеры» он сам делал здесь же в эти же годы. Жизнь кажется ему медлительней, уравновешенной, малоподвижной. Самая главная опасность в ней — это поддаться уютному быту, «врасти», жить изо дня в день, от недели к неделе.

В «Тугом узле» тоже возникает пейзаж сельской неторопливости, сельской размеренности: «По утрам в Коршунове с первым грузовиком, подымающим пыль на шоссе, голосили петухи. Кривой на один глаз пастух дед Емельян, покрикивая на коров и хозяек, собирал стадо. Днем около районного Дома культуры козы объедали афиши, извещавшие коршуновское население о новой кинокартине. По вечерам на дощатой площадке в роще играл доброволец баянист, молодежь танцевала... Жители же более почтенного возраста — бухгалтеры, делопроизводители, заведующие райторгами, райтопами, райфо и прочие, — засучив рукава нательных рубах, трудились в поте лица — окучивали картошку». И этот пейзаж своей невозмутимостью рождает тревогу. Но любопытно, у кого и какую. Этот пейзаж раздражал Павла Мансурова, беспоконил: неужели всю жизнь просидишь в такой дыре, неужели это уже его, Мансурова, «потолок»?

В «За бегущим днем» в пейзаже один постоянный мотив — пробитая тропинка. Деталь откровенно аллегорическая. Вообще же в романе преобладает интерьер. Домашняя обстановка. Дом, семья. Интерьер обставлен, обилён. Основной его мотив — не однообразие только, но избыток. Избыточна и стать жены, этакое обильное тело — и маленькая несоразмерная головка. От этого избытка претит. Все эти куры, подвинки, хлевушки, ушаты и тяпки, шашки по вечерам и пироги — опасность.

Едва ли тут Тендряков точен. Едва ли именно пироги в избытке были главной опасностью в деревне пятьдесят второго, да и более поздних лет. Не от избытка кидали в грязь считанное, сбереженное на посев зерно в «Ненастье».

Тут впервые у Тендрякова возникает несовпадение материала и мысли, возникает своеобразный зазор между ними.

Страх перед бытом, перед достатком как целью существует у писателя безотносительно к предмету его повествования в «За

бегущим днем». Не случайно так легко вместе «примера Загарья» для подтверждения мысли привлекается «пример Швеции».

Андрей Бирюков тревожно переписывает — в прямой связи со своими размышлениями — сведения, вычитанные из журнальной статьи о Швеции. Сведения эти известные: разлад между нравственным уровнем и уровнем благосостояния, учащение самоубийств при полном комфорте и обеспеченности. Благополучие в связи с безыдейностью, в связи сложной, причинно-зависимой. Благополучие, добытое для себя, отравляет и обирает если не того, кто сам этого благополучия добивается, то его наследников.

Этот мотив надолго займет воображение писателя. В его последней повести, в «Коротком замыкании», мы встретим владельцев «москвича», о них нам скажут: «Все силы души, тела, мозга, все их время до последней минуты уходило на то, чтоб себе заработать, себе купить, себя развлечь». Даже по конструкции совпадает с тем, что думает о шведах герой «За бегущим днем»: дед тех юношей, которые от бессмыслицы жизни хулиганствуют или готовы пустить себе пулю в лоб, «нсступленно мечтал: для себя добыть кусок хлеба, для себя построить дом, себя обеспечить, своих близких. В этом была цель жизни». Куда девать себя, где найти выход силам? В благородных поступках?.. «Комфортабельно живущие люди не нуждаются в помощи», — размышляет Андрей Бирюков о Швеции. В «Коротком замыкании» о владельцах «москвича» сказано, что они никогда не волновались за других, жили сами для себя не от природной черствости, просто «никто особо и не нуждался в их помощи».

Да, это все серьезные размышления. Серьезные сами по себе. Но они, повторим, безотносительны к предмету повествования в «За бегущим днем» (и, как мы узнаем позже, в «Коротком замыкании» тоже). Связь устанавливается самая прямая, но и самая механическая: Вот на уроке каждый учит сам за себя, ищет своего успеха, своей пятерки, и это опасно. Поэтому Андрей Бирюков хочет перестроить занятия, и мы подробно узнаем, как он их перестраивает.

В романе впервые нарушается естественная слитность размышлений и фактов. Их соседство оказывается более или менее произвольным.

Быт, достаток... Для Тендрякова — это угроза всякой идеиности. Быт вытесняет ее, растворяет в себе, деформирует...

Будни в конфликте с будущим — так, собственно, задуман роман «За бегущим днем». Этот конфликт предуготован уже стыком патетического, звучного вступления — и скромного предмета повествования. Роман, действие которого с какой-то страницы замкнется в тихом райцентре, в беспокойствах загарьинской десятилетки, открывается так: «Мое будущее началось до моего рождения. Баррикады на Пресне и неуклюжий самолет братьев Райт, красный флаг на «Потемкине» и открытие Эйнштейна, Ленин, произносящий речь с броневика, орудия «Авроры», уставившиеся в Зимний дворец, декреты на оберточной бумаге: «Мир народам! Земля крестьянам!», чертежи межпланетной ракеты калужского затворника Циолковского — где-то во всем этом появилась не только та жизнь, которой я жил и живу, но и то, что ждет меня впереди, то незнакомое, таинственное, манящее — мое будущее». И в конце снова слышатся слова, полные патетики, — следя глазами за летящей в небе новой звездой, сделанной человеческими руками, герой думает: «Завтра — новый день. Завтра я понесу дальше свой счастливый крест к неизведанному, к непрожитому, в бесконечность».

Та связь между повседневным, житейским и историческим, которая в ранней прозе Тендрякова устанавливалась сама собой, без громких слов, с очевидностью, теперь устанавливается внешним способом, словесно.

Тендряков написал о будущем — около страницы в начале, несколько абзацев по ходу повествования. Надо было затем писать будни. Написать этот самый быт, в глубине которого писателю видится такая серьезная угроза.

Задача вроде бы и не трудная для Тендрякова. Просмотрим хотя бы первые страницы «Тугого узла», то же описание деревни, которое было приведено выше, или описание похорон в райцентре с запахом погребка от могилы, с командой «пли» («десять парней из общества Досаиф ударили из винтовок в воздух»), с беспечным любопытством старушки — кладбищенского завсегдагая: «— Кого, милый, хоронют? — Секретаря райкома, бабушка... — Старушка, повернувшись лицом к могиле, перекрестилась.—

Прими, господи...» Тендряков умеет видеть, умеет слышать, он внимателен. Но его зоркость особая. Его пленяет сокращенность расстояния между наблюдением и выводом. Только возможность и близость вывода делает ценными в глазах писателя его же наблюдения.

Тендряков привык к уверенности, что факт обязательно дает росток мысли. Ради этого ростка он и напрягал внимание, изошрял слух. Характеристика Глухарева из «Ненастья», Мансурова из «Тугого узла», Княжева из «Ухабов» излагалась без спешки, с житейской обстоятельностью. Из этих-то житейских обстоятельств немедленно — и законно — концентрировались обобщения. Сообщались самые простые, обыденные вещи: ну, скажем, что у Павла Мансурова нет профессии. Он не инженер, не экономист, не земледелец — руководитель, другой специальности нет. Другого просто не умеет. Поэтому приходится держаться за пост. Характеры до черточки совмещались с социальными явлениями. В этом не было насилия над их своеобразием: бывают люди, в которых время и социальные обстоятельства выражаются отчетливо, а главное, бывают времена и социальные обстоятельства, которые так или иначе отчетливо выражаются едва ли не в каждом человеке. Течение фактов само выносило к концепциям.

Это совершенно возможный, совершенно законный путь. Течение фактов может выносить к концепциям. Так же, как может и не выносить к ним. Индивидуальный характер может совпадать с социальным характером, как может и не совпадать с ним. Не во всякую эпоху во всяком драматическом событии удастся сразу угадать логику исторической тектоники. Могут быть и просто драматические события: умирает ребенок, болеет старик, женатый человек любит замужнюю женщину...

Но интерес Тендрякова избирателен. Характер, прямо приравненный социальному явлению, — это ему интересно. Характер, связь которого с социальным таким способом — через знак равенства — не устанавливается, — для Тендрякова спорно само существование таких характеров. Любопытное дело: когда для Тендрякова человек — социальное явление, он его великолепно пишет. Человек оказывается на страницах «плотным созданием», по слову Гоголя. Если же социальные связи не могут так

вот, сразу же раскрыться — образ мутится, расплывается в литературных вялостях. Пожалуй, это бессознательная писательская хитрость: всякая необъяснимость характера для Тендрякова подозрительна как литературщина.

Тендряков готов исследовать жизнь во всей ее сложности, если речь о сложности ее социальной структуры. Тут он ничего не боится, ни перед чем не теряется. Его желание понять любое психологическое явление в прямой связи с социальным бывает отважно.

Однако улегшееся время устанавливает свои связи между житейским и историческим. Не прямые.

В романе «За бегущим днем» буквально от страницы к странице видно, как писатель разочаровывается в своей любви к бытовой зарисовке, к психологической подробности, к тому, что в старину называли «картинами жизни». Он становится небрежен, как никогда не бывал. Рецензент не преминул бы огорчиться, что автор пишет: «Еловые лапы... прямо в глаза строят немые снежные рожи», что автор пишет: «Мое одичавшее после целого дня шатаний по зимнему лесу обличье»... А Тендрякову словно бы безразлично это огорчение. Он охладевает к предмету. Берет движение событий в свои руки, заставляет героев страницы напролет спорить на интересующие его, автора, темы. Интонация стерта, определить, кто какую фразу произносит, почти нельзя, но автору и не важно, кто произнесет фразу, была бы произнесена вообще. Факты, факты... Мысль из них сама собой больше не вытекает, автор ее выжимает.

Отсюда аллегоризм деталей. Мы уже говорили о постоянно возникающей в пейзаже пробитой тропинке: пробитая тропинка, которой идет в своей ежедневной работе школа и сам герой. В лесу Андрей Бирюков видит березы, согнутые под тяжестью снега: «Раз уже поддалась, раз уже оказалась согнутой — жить ей и дальше смиренной калеккой всю жизнь. В следующую зиму еще больше согнет ее снег, еще ниже придавит к земле — не тянуться вверх, не воевать за солнце». Березку Андрей видит как раз перед тем, как решает вопрос: отстаивать ли ему свои пробы в педагогике, уступить ли. Образность становится пояснительной. Лексика тоже. Со значением повторяются слова «время», «будущее». «Я ждал будущего, пусть трижды тяжелого, трижды не-

устроенного, но заполненного большим делами». «Вступай в свое будущее и живи достойно, ты — единица из сотен миллионов, человек своей страны, своего народа!» «Человек чаще всего, упрямей всего думает о будущем!» «Прошлое роднит, но еще крепче роднит людей будущее». Эти фразы (их гораздо больше) разделены в книге десятками, иногда сотнями страниц. Но между ними нет расстояния: мысль стоит на месте, переминаясь с сентенции на сентенцию. Больше, чем сентенцию, из материала выжать не удается. И Тендрякову становится постылым этот материал; материал надоедает писателю; вся эта бытовая плоть, не проросшая выводами, не проросшая обобщениями, становится ему в тягость.

Вывод! Немедленный, очевидный, доведенный до формулировки. Притом неожиданный. Притом опровергающий общепринятое. Притом жизненно нужный. Для Тендрякова нет ничего привлекательней, ничего важнее. Только возможностью выводов влекла его бытопись. Когда она этой возможности не дает, он ее отбрасывает.

С этих пор конструкции и логике очерка Тендряков предпочтет конструкции и логику притчи. Мысль не рождается из материала. Она существует «до прозы». Она сама себе выбирает материал и в соответствии со своими надобностями формулет его.

2

Владимир Тендряков пишет проблемно.

Проблемы, которые его тревожат и которые он старается решить, из жизни и для жизни.

Этот творческий стимул — «для жизни» — в работе Тендрякова стимул первый. Его гражданская отзывчивость прекрасна. Он с готовностью берется за решение вопросов, стоящих на повестке дня, — скажем, за антирелигиозную пропаганду. Так появляются «Чудотворная», потом «Чрезвычайное». Эти книжки с их энергичным безбожничеством, с их разоблачением лояльного «советского» поповства — дельные книжки, вплоть до того, что в «Чрезвычайном» — чтоб на местах не возникли перегибы — сказано, что ни одна из церквей в городке (герой считает, что их надо бы развалить) не являлась архитектурным памятником старины.

Но в «Чудотворной» и в «Чрезвычайном» есть и иной пласт. Произошел случай: мальчишка Родька нашел икону. Произошел случай: десятиклассница Тося Лубкова обронила дневник, выяснилось, что она верит в бога. Случай оказывается удобным для размышлений автора. Они-то, эти размышления, составляют в повести главное.

(Существенное изменение конструкции: жизненный случай как повод для рассуждений — вместо жизненного случая, в котором реально выразилась жизнь.)

Мы уже имели возможность видеть, как важен для Тендрякова мотив быта, житейской оседлости. Будни разлагают, испаряют духовное начало. Но и сами пересыхают без него. Тендряков великолепно чувствует эту диалектику: быт, разлагающий идейность и жаждущий ее замен; бездуховность, тоскующая по духовности, но по духовности, которая ей сродни.

В «Чудотворной», в «Чрезвычайном» мы видим как раз такую «пересохшую» среду, «сухую землю», готовую жадно впитать любую пролитую на нее идею, иллюзию идеи. Учительница Парасковья Петровна, возвращаясь из дома своей бывлой ученицы, где теперь из угла дико, бело смотрят глаза Николы-угодника, размышляет: что заставило Варвару метнуться к чудотворной иконе, как шла Варварина жизнь? «Боронила, косила, жала, молотила, делала, что приказывали бригадир, председатель, агрономы из МТС, уполномоченные из райцентра. Никто из них не пытался заставить ее: «Ну-ко, пораскни мозгами, как лучше вырастить хлеб, подскажи, возрази, ежели мы не правы». Никто не учил: думай над жизнью, вникай в нее. Все, от колхозного бригадира Федора до районного начальства, только приказывали. борони, жни, коси, по возможности быстрее, по возможности лучше, не рассуждай лишка, без тебя разберемся. Помнили: она рабочие руки в колхозе, а то, что она, кроме этого, человек, — забывали... Она покорно выполняла приказы, много действовала своими руками и меньше всего головой».

Многое в распространении религии — от войны, от военного страха, от военного бездолья. Тендряков не забывает об этом. И все же главное — главное не в вопросе об оживлении религии, а в системе рассуждений писателя — в «недокорме» души.

Руки много работают, голове становится привычным «не рассуждать лишка». Все же и этот человек тянется к духовной пище. К той, какую может усвоить. К той, которая испокон века и рассчитана на голову, «не рассуждающую лишка», которая испокон века готовилась на человека, бедного душой.

В «Чудотворной» тянется к грозной гла-застой доске. В «Чрезвычайном» — к ненавязчивому, легкому богу тети Симы. В том же «Чрезвычайном» мельком рассказано о спившемся люмпене, которого охотно поят и слушают в чайной, когда он читает навзрыд «Москву кабацкую». Такой же кабацкий, трогающий душу распев заставляет тесниться вокруг койки Николая Бушуева обитателей общежития сплавщиков в «Тройке, семерке, тузе». Висела в красном уголке гитара, купленная потому, что были выделены деньги на культурно-массовое обслуживание. Висела и висела. Потом ее взял Бушуев.

Деньги на культурно-массовое обслуживание были выделены так же исправно, как все исправно на участке. «Александр Дубинин живет в будничных заботах: надо следить, чтобы работа распределялась равномерно, чтоб расчет за работу был справедлив, чтоб в столовой кормили сытно, чтоб в общежитии было чисто, чтоб простыни менялись каждую неделю...» И работа распределяется по чести, платят без обсчета, на еду в столовой жалуется разве что прижимистый Егор Петухов, которому вообще жалко вынуть гривенник, простыни меняют. Сплавщики зарабатывают нелегко и помногу. Идя по сделанной «между делом» огромной каменной дамбе за поселком, Дубинин думает: «Если бы вся работа — разборка завалов, очистка берегов и мелей — каким-то чудом вдруг превратилась в сложенные один на другой камни... выросла бы на этом участке гора, снежной вершиной уходящая за облака». Руки работают. «Все хорошо, все налажено... Но все ли? Сытно, покойно, даже слишком покойно — сон да работа, работа да сон...»

Три события отвлекают от этого ритма «сон да работа», становятся событиями для всех или хоть для кого-то. Лешка Малинкин спасает человека, по неумелости чуть не погибшего на реке. Спас, помог, сделал что-то для другого. Лешка по-особенному относится к спасенному: он ему, как ни странно, благодарен.

Разбирая слипшиеся, промокшие бумаги спасенного, мастер сплавчустка Саша Дубинин едва ли думает о своей жизни. Наверно, просто разбирает бумаги. Но именно в этот момент автор рассказывает нам его жизнь. «Книг не приучился читать, не зажигался от них благородными порывами, не открывал для себя высоких идей, не знал (а если и знал, то очень смутно, понаслышке), что существовали на свете люди великой души, которые ради счастья других поднимались на костры, выносили пытки, сквозь стены казематов заставляли потомков прислушиваться к своему голосу.

Был сплавщиком, стал мастером — только и всего.

Лет шестнадцать тому назад произошла неприятность».

Лет шестнадцать назад раздробило бревнами обе ноги семнадцатилетнему пареньку Яше Сорокину. Дело было к тому же в войну. Отец Сорокина погиб. Осталась старуха, сестры-девчонки. В увечье Сорокина мастер не виноват, это было просто несчастье. И вот Дубинин взвалил тогда на себя ношу. Ломал спину на две семьи (у самого — жена, ребенок). Вырывал на крик в райсобресе пособие для Якова. Требовал, чтобы в колхозе помогли семье фронтовика. Взял за шиворот самого Яшку Сорокина, потерявшего себя, вымогавшего деньги («Мне теперь одно осталось — погибать. Уж погибать, так весело»).

И вот об этом времени, об этой беде, когда старался не для себя, для других, Дубинин вспоминает (или за него вспоминает автор) как о лучшем времени. Но беда в прошлом. «Давно уже Яков Сорокин работает в колхозе счетоводом, женился, имеет двоих детей. Его сестры выросли, уехали из деревни, одна замужем, другая учится на фельдшеру.

Александр Дубинин живет в будничных заботах...»

У других сплавщиков, так же, как и Дубинин, не приученных к книгам, не зажигавшихся от них благородными порывами, не открывавших для себя высоких идей, — нет даже и воспоминаний о таком вот счастье: «Поднять упавшего, успокоить отчаявшегося, защитить слабого, чувствовать при этом, что ты способен радовать других, ты щедрый, ты сильный — это ли не счастье!»

Чуток этого счастья выпадет на долю владельцев «москвича» в «Коротком замы-

кании», когда они захотят помочь случайному встревоженному человеку, попросившему подвести его до хликомбината. Чуток этого счастья выпал на долю Лешке Малинкину — за это счастье он благодарен вытасканный из воды Бушуеву. Но короткое замыкание — быстро исправляемая авария. Беда на реке и вовсе недолга. Человека спасли, откачали, чего об этом рассусоливать. Опять «все хорошо, все налажено... сон да работа, работа да сон...»

В чахломе Николае Бушуеве есть духовность. Духовность низкопробная, духовность с отрицательным зарядом, но духовность. Низкопробная, как его шиплющая сердце гитара (она стала его гитарой, без толку провисев на стене красного уголка, где никто ее и не трогал).

Песни Бушуева, всхлипывания блатной лирики становятся вторым событием на сплавчустке. «Сплавщики были не слишком привередливы» Ко всем этим негромким гитарным вопросам — «почему у одних жизнь прекрасна и полна упоительных грез» — прислушиваются. Бушуев поет «для души»... Душа недокормлена, с небрежливостью голодного она поглощает, что дают и что способна воспринять.

Наконец третье событие. Карточная игра, сначала медлительная, шутливая, потом вовлекающая всех, молчаливая, потная, с кучами денег, разложенных по койкам, с жадными взглядами, останавливающимися на ловких плоских руках Бушуева, которые тасуют колоду.

Интересно, что Бушуев не ворует. Он играет. Никто из сплавщиков не стал бы воровать вслед за ним. Но играть вслед за ним кидаются. «Дух денег» «Дух азарта» Именно дух, а не просто деньги. Эрзац духовной жизни. Как оказывается ее эрзацем религиозность в «Чудотворной» и в «Чрезвычайном».

У Тендрякова есть и другой постоянно тревожащий его мотив. Это мотив «простой жизни». «Нерушимый покой, прочная, здоровая жизнь» окружает Дубинина. Весь сплавчусток — словно бы намеренно сделанная «выгородка». Могучий лес, могучая река, могучий труд. Здесь все живое естественно — физическая работа, порядок, твердые нравственные устои «простой жизни». Еще более образцова «простая жизнь», которой живет медвежатник Семен Тегерин в «Суде». Человек наедине с природой, мужественный хотя бы по требованиям про-

фессиональной пригодности (так же мужественны сплавщики). В «Коротком замыкании» о владельце «москвича» тоже сказано особо: «Они оба жили жизнью, которую принято похвально называть простой». Правда, жизнь этих «собственников», служащих при автобазе, лишена героизирующего оттенка; более или менее откровенно понятие «простой жизни» в «Коротком замыкании» приравнено к понятию «обывательской жизни». Для Тендрякова это приравнивание имеет принципиальный смысл. Можно сказать даже так: он именно для того и в «Тройке, семерке, тузе» и в «Суде» берет героизированный вариант «простой жизни», чтобы дискредитировать ее там, где ею восхищаются неоруссоисты. (Тема «простой жизни» достаточно существенна в современном искусстве.)

Вся вторая половина «Суда» — с того момента, когда кончается охота и начинается следствие, — сосредоточивается на Тетерине. Тетерин не выдерживает испытания. Он сам к себе теряет уважение, теряет к нему уважение его тварищ по охоте, начальник строительства Дудырев. «Дудырев, сидевший в машине, которая несла его по черной, отчетливо выделяющейся среди покрытых снегом полей дороге, думал о Семене... Семен Тетерин! Медвежатник! Казалось, вот олицетворение народа. А перед народом Дудырев с малых лет привык безотчетно, почти с религиозным обожанием преклоняться... Кондовый медвежатник, не растравлен рефлексией, цельная натура, первобытная сила — как не умиляться Дудыреву». Этот-то человек с его первобытной силой и цельностью больше всех сплеховал. Знал, где правда, попробовал рассказать о ней — и растерялся при первом натиске, даже и натиска-то особого не было... Все установления его «простой жизни» — правдивость, желание не оставить друга в беде, бесстрашие — разом осели, едва только перед Семеном Тетериным с казенного кресла поднялся следователь: «узкий, прямой... длинная сухая шея, бледное пористое лицо кабинетного человека, большие уши, мягкий старушечий рот». Семен Тетерин боится этого человека: он видит в нем «что-то особое, какую-то силу, способную обвинять».

Так же теряется перед следователем, приехавшим на сплавчусток, Лешка Малинкин в «Тройке, семерке, тузе»: все пугает — «фуражка с лакированным ко-

зырьком, на груди светлые пуговицы, из-под лакированного козырька спокойно и холодно смотрят глаза. Он встретил пугающими словами, что надо говорить только правду, иначе «будете привлечены к ответственности», «статья...», «уголовный кодекс...». Что это за статья, что такое кодекс — Лешка не знал, но представлял — должно быть, страшные вещи». И Лешка так же не защищает известную ему правду, как не защищает ее Семен.

«Простая жизнь» в числе иных своих традиций имеет этот страх перед «светлыми пуговицами», «простая жизнь» становится испуганно бездеятельной, едва завидит их. Это очень важно для Тендрякова, как важно для него и другое: казенщина — это, в сущности, тот же быт, быт служащих людей, днем судят, вечером окучивают картошку, ни то, ни другое особой идейностью не пронизано. Семен смотрит в суде на женщину, председательствующую за столом: «Теплякова — женщина тихая, многосемейная, вечно озабоченная... Руки, лежащие на каких-то бумагах, — руки хозяйки, шершавые, с коротко подстриженными ногтями, видать и бельишко стирает... тоже бабе приходится из кулька в рогожку переворачиваться». У врачихи, которая приезжает на вскрытие в «Тройке, семерке, тузе», тоже увядшее, какое-то домашнее лицо. Она старательно и заботливо осматривает труп, потом заполняет бумаги, трудолюбиво склонившись над столом. Врачиха, которой в «Суде» предстоит та же работа, — помоложе, в пестром платье, но лицо у нее тоже лотное, усталое. Стола нет, бумаги она заполняет тут же, на прогалине, где лежат медвежья туша и тело убитого случайным выстрелом парня. Докладывает следовательно и прокурору старательно. Сердится, что не предупредили насчет медведя: вот не предупредили, а инструменты не подходят, тоже удовольствие — тоненьким скальпелем копать в этойкой туше.

Житейское, деловитое перед лицом смерти всегда производят впечатленье стыдного, даже когда отдаешь себе отчет, что они обязательны. Житейская деловитость вскрытия, следствия, суда подчеркивает у Тендрякова мотив бездуховности, продолжает его в новом повороте.

Есть еще много вопросов, объективно беспокоящих писателя. Вопрос о крупной личности и о тех, кто, как сказано в «Коротком замыкании», составляет своей

жизнью «будни необъятного человечества». Об ответственности перед завтрашним днем, о том, что оставляет человек по себе на земле. Все это — не в общефилософском аспекте, а в связях с конкретной сегодняшней социологией нашего общества.

Круг этих вопросов не вымышлен. Даже то, с какой энергией, не жалея газетного дорогого места, с Тендряковым начинают полемизировать, едва выйдет в свет его очередная повесть, — свидетельство того, что он касается тем безразличных. С ним и спорят, обращаясь прежде всего к терминологии не литературоведческой, а социологической. Процитируем последнее из газетных выступлений, связанное с «Коротким замыканием». Д. Стариков в «Литературе и жизни» начинает так: «...Да, дело доходило даже до того, что один критик (автор этих строк) счел своим долгом напоминать читателям «Тройки, семерки, туза» прописную истину: в социалистическом обществе люди становятся хозяевами своего труда, впервые в истории обретающего человечность, ибо ликвидирована основа «отчуждения» труда — частная собственность на орудия и средства производства; размышления других критиков (в частности М. Гуса, В. Сурганова) над следующей повестью В. Тендрякова «Суд» также сами собой приводили к необходимости толковать, казалось бы, о столь же азбучных истинах: об утопичности «естественного человека», о социальной природе государства, о том, что в социалистическом обществе народовластие ликвидирует и основу «отчуждения» государства от человека, снимает антагонизм общества и личности, общественной и «естественной» морали, закона и совести...»

(Напоминать обо всем этом Тендрякову не было нужды: сам Тендряков разоблачает иллюзии насчет «естественного человека».)

Повторим уже сказанное: Владимира Тендрякова «принимают» или «не принимают» в зависимости от согласия или несогласия с его точкой зрения на жизненные проблемы. Не спорят о художественной природе его работы. Он сам ею заинтересован не в первую голову. Он торопится разобраться в занимающих его проблемах. Литературные заботы кажутся ему подчас волочитой, мешающей помочь жизни сразу же.

Он торопится.

3

Повесть «Суд» разломана надвое. Идет охота. Это одно. Это написано густо, плотно, зримо. Написан медленный, лениво клонящийся к концу день, не день, а растянувшееся ожидание Ночи, когда должна начаться охота. Привал не утомленных, а только ждущих людей, с необязательным разговором, с воркованьем спрятанного в кустах переката, с бесхитростным звуком гармошки, неожиданным в лесной глуши: «Отвори да затвори...» — идет парень в суконном не по погоде черном костюме, отложной воротник чистой рубашки выпущен наружу, в руках поблескивает лаком хромка... И благодущье привала, и эта случайная встреча, и словно бы досужие — во время привала — рассуждения о каждом из участников охоты пронизаны особым ритмом. Это ритм растянутого предвкушения, когда и час, и два, и три ждешь тех двух-трех минут, ради которых всё. Двух-трех минут охотничьего ужаса и счастья.

Написано наступление темноты, когда ночь в лесу ползет снизу, из-под корней деревьев, земля истекает из всех пор черноземным, жирным мраком. Написана монолитно темная чаша. Овраг, откуда тянет прелью, как из ямы с прошлогодней картошкой; мрак на дне оврага — слежавшийся, плотный. Поле овса, куда охотники выходят после чащобы «светло, тихо, покойно... матовое озеро среди вздыбленных черных берегов». И это «медвежье» слово — «вздыбленный» — поставлено с необдуманной точностью, оно естественно оказалось под рукой, как у мастера всегда под рукой именно тот инструмент, какой нужен.

Написаны все звуки ночного, располосованного охотой леса: слабый плачущий голос отбившегося от своих Митягина, тотчас впитанный сырой темнотой; утомленный крик дергача, невесело исполняющего свою ночную обязанность; тугой звук неудачного выстрела, болезненно свирепое, короткое, как кряканье с надсады, рычание медведя; сорванный голос собаки, с упорством до помешательства, с бесстрашием до самозабвения преследующей зверя. И вот в скупое брезжущих сумерках, когда молча, без рычания медведь встал на дыбы и пошел навстречу охотникам, за кустами возникает «отвори да затвори» — бездумный, веселенький звук гармошки.

«— Не стреляй! — крикнул Семен.

Но было поздно, два ружья разом грохнули, хрипло завизжала Калинка, бросившаяся под ноги качнувшемуся вперед медведю. Вялый ветерок понес пахнувший затхлостью дым пороха.

Медведь лежал темной тушей. Калинка бесновато прыгала возле него. Глухое эхо выстрелов умирало где-то далеко в лесных чашах. Дудырев и Митягин стояли не шевелясь, держа на весу ружья, все еще сочившиеся дымком. И чего-то не хватало, что-то исцезло из этого скудно освещенного мира».

Охота написана великолепно. С редким чувством непосредственной образности самого слова (эти сочащиеся дымком ружья, предвещающие образ раны, нанесенной одним из этих ружей...). Так сильно — с такой мощью изобразительности, так сильно по ритмам — Тендряков еще не писал.

Но мы дочитываем повесть до конца. Социолог и проблемист перебивают автора рассказа об охоте. Словно не доверяя, что он и сам может довести дело до конца, оттесняют его от листа бумаги. На пластическую художественную систему накладывается система логических рассуждений. Между ними возникает все дальше расходящаяся трещина. Возникает несоответствие; в результате художественное или гибнет, или опрокидывает возведенное над ним логическое построение.

Дудырев переживает. Страшно предположить, что ты — пусть совершенно нечаянно — убил человека. В результате этих переживаний он начинает больше заботиться о быте рабочих на вверенном ему строительстве. Возвращаясь от следователя, шокированный тем, что юристы явно предпочитают доказывать виновность безответного фельдшера Митягина, а не виновность его, Дудырева («он, Дудырев, не только выдающаяся личность в районе, он еще нужный человек, чудотворец, создающий дороги, налаживающий автобусное движение, подымающий жизнь из сонного застоя. А Митягин?.. Как его легко обвинить!»), — Дудырев едет через построенный им поселок. «Среди торчавших пней стояли бараки, все, как один, новенькие, свежие, не обдутые еще ветрами, какие-то однообразно голые, с унылой ровностью выстроенные в ряды. Чувствовалось, что здесь люди живут временно, некрасиво, бивуачно. Сам поселок раздражает своей казарменной сухостью.

Будет отстроен комбинат, вокруг него

вырастут дома, быть может благоустроенные, быть может красивые, но рядом с ними останутся и бараки. В них, уже покосившихся, осевших, латаных и перелатанных, непременно кто-то будет жить. Секрет прост: те строители, которые займут его, Дудырева, место, станут планировать жилье с расчетом на эти бараки. Раз стоят, значит жить можно, мало ли что некрасиво и неудобно — не до жиру, быть бы живу. Они, как следователь Дитятнчев, не захотят лишних осложнений, станут искать решения попроще.

Он возмущался следователем. А сам?.. Настаивал строить не капитальное жилье, а бараки, приводил веские доводы — быстро, дешево, просто... Главное, просто! Не надо будет изворачиваться и экономить, не надо задумываться — откуда оторвать рабочую силу, не надо беспокоиться, что сорвешь утвержденные планы. Проще! Легче! Разве это не называется — искать под фонарем?..

Дудырев сейчас начинал понимать то, о чем раньше, как ни странно, не задумывался: истина и счастье людей неотделимы друг от друга, а счастье же слишком серьезная вещь, чтоб давалось легко; под фонарем, где светлей да удобней, его не найдешь».

Истина и счастье людей в самом деле неотделимы друг от друга, но почему именно на этой, а не на иной странице появляется упоминание об этом — неясно. Просто Тендряков считает эту мысль существенной. Ее надо высказать. Он ее и высказывает.

Важен для него и вопрос, какой обсуждают в повести Семен Тетерин и председатель колхоза Донат Боровников. Это вопрос о соотношении правды и пользы дела. Донат верит охотнику, что тот, разделявая медвежью тушу, нашел пулю, не отысканную врачом, который делал вскрытие. Верит и тому, что пуля подходит к ружью Митягина, что именно выстрел Митягина свалил зверя. Парня же убила пуля, посланная Дудыревым. Донат верит, что это все правда. Но стоит ли ее отстаивать? Стоит ли доказывать вину Дудырева? Дудырев — человек, полезный краю. (Мельком упоминается, что он проложил дорогу, о которой понапрасну мечтали районные власти вот уж сколько лет: дорогу от Густого Бора к станции, пятьдесят километров твердого покрытия. Это та самая дорога, на которой

когда-то погиб парень в «Ухабах», теперь по ней ездят в свое удовольствие.) Митягина вряд ли засудят, говорит Донат. Но вообще-то речь не о Митягине. Донат произносит такую фразу: «Кроме митягинской правды, которую ты выковырял из медведя вместе с пушкой, есть и другая». Сказано коряво, не по-мужицки коряво, а просто по мысли не очень четко. Все же можно понять. Речь идет о том, что вот существует объективная правда и существует «правда пользы», правда разумного поведения, правда целесообразности. Когда они, эти две правды, разъединены, возникает драматическая ситуация.

Примирение конфликта между правдой и пользой, истиной и счастьем происходит в повести по логике алгебраического уравнения. Происходит отдельно от сюжета, вне сюжета. И моменты соприкосновения этого «уравнения» с живой плотью вещи вызывают такое ощущение, как от звука ножа по стеклу. Это соприкосновение разнородного.

«Дудырев собирает барак сносить, каждой семье квартиру обещает, прогнал с работы половину снабженцев, он и обходитель, он и добр...» Семен Тетерин ко всем этим пересудам относится недоверчиво, ему кажется, что Дудырев откупается. «спасается» всем этим творимым добром...

По логике «уравнения» Тетерин не прав. По логике художественности, по логике самостоятельного существования написанных характеров вывод получается иной. Чувствуешь то же, что чувствует Тетерин. Конечно, Дудырев «спасается».

Размышляя о Тетерине уже в финале повести, Дудырев мягок в своем осуждении спасовавшего «простого человека», даже готов признать и себя виновным в том, что такой вот кряжистый медвежатник спасовал. «Мало поднять комбинат, проложить дорогу, переселить людей в благоустроенные дома. Это нужно, но это еще не все. Надо учить людей, как жить».

Насколько верна эта фраза отдельно от положений повести, отдельно от Дудырева, настолько неуместна она в данной ситуации. Не Дудыреву учить Тетерина.

Мы же помним, как он встретил Тетерина, когда тот принес ему пулю-улику. Что, он тогда не поверил медвежатнику? Поверил же. Пуля для него была страшна именно несомненно: теперь он знал, что он — именно он, Дудырев, — убил парня.

Знает. И это состояние Тендряков написал с такой художественной убедительностью, что все остальное поведение Дудырева — его поездку к следователю, его речь в суде — иначе как самозащиту, как «спасение души», как ложь перед собой и ложь небескорыстную не воспримешь.

А нам говорят: он теперь понял, что должен был учить людей жить. И что мало учил — признает себя виновным...

Логика художественности и логика социологическая тут во взаимных неладах.

Первая часть «Суда» — настоящая проза, художественно самовольная, сильная. Во второй части проза подминается решением проблем.

Такое усмирение прозы ради полногласия проблем в конечном счете оказывается во вред проблемам же. В «Суде» этот вред был еще минимален. В «Коротком замыкании» разъединение авторских размышлений и простейшей, жизненной (и художественной) логики изображенных событий приобретает уже аварийный характер.

4

«Короткое замыкание» — своего рода каталог тем и приемов писателя. Характерное «тендряковское» построение: завязка — несчастный случай. В вечер под Новый год происходит беда на высоковольтной линии, случайно ослабел зажим, мощные провода распались — короткое замыкание. В диспетчерском управлении дежурил Василий Васильевич Столярский. В момент катастрофы — собственно, в момент ее возможности, настоящей катастрофы так и не произошло — он вел себя неуверенно, не решился воспользоваться всей полнотой врученной ему власти. Его начальник Иван Соковин сам сделал то, на что не рискнул не приученный к самостоятельности Василий Васильевич: на короткий срок отключил весь город, ни с чем не считаясь. Эта крутая мера выправила положение, хотя и привела к каким-то несчастьям. Применить ее было необходимо — рано или поздно. Если бы ее не применить, город все равно остался бы без энергии, только уже надолго.

Через какое-то время положение выровнялось, а аварийная служба выполнила свое дело.

Итак, несчастный случай, при котором нет юридически виновных и который в то

же время для Тендрякова существен как возможность провести нравственное и социальное расследование. Нам изложены внешние обстоятельства дела. Автор настойчиво подчеркивает: внешние. Кажется, что нет виновных. Автор настойчиво подчеркивает: кажется.

Повесть «Короткое замыкание» как бы двухслойная. Слой сюжета нарочито поверхностен, это плотная и прозрачная пленка, оберегающая от стирания то, что написано под нею.

В «Коротком замыкании» погибает человек. Фамилия его Горяев. Описано его мертвое тело, грязная голубая рубашка, засаленный ватник; описан морг. Но мертвое тело тут условие. Погибший человек становится доводом в споре. Спор в повести — главное.

Спорят отец и сын Соковины: Иван Капитонович — начальник областной энергосистемы и Вадим — энергетик с химкомбината. «Давнишний, длящийся, верно, не первый год спор... спор, не совсем ясный для других, скрытая семейная война...»

Что неясный для других, что скрытый — это обмолвка. Спор вынесен перед всеми, лишен житейской оболочки.

В приступе новогоднего красноречия Соковин-отец толкует о великом боге — Времени, славит тут же и другое божество, то, которому служит и которое служит ему. Он славит обоготворенную энергетiku. Сын возражает, что любви к машинам и власти над ними мало. Отец раздраженно восклицает: «Ах, я не упомянул — любовь к человеку!..»

По совести, у отца есть основания раздражаться, потому что сын ему навязывает спор действительно «давнишний, длящийся не первый год». Так спорили еще в «Весеннем потоке» Ю. Чепурина с размахистым и по-своему обаятельным Барсуковым, который больше думал о строительстве плотины, чем о благоустройстве рабочих и о технике безопасности. Пьеса шла в пятьдесят четвертом году, и после нее было много пьес и много романов, где спор больше повторялся, чем варьировался в своей сути.

Спор давно разрешен, если он формулируется так: «Любить технику или любить людей». Впрочем, автор дает понять, что это только первый, поверхностный слой спора.

Однажды, после резкой публичной перепалки (речь шла о том, строить или не

строить собственную небольшую ТЭЦ при химкомбинате, и Иван Капитонович доказал нерентабельность этого дела), сын сказал отцу: «Я часто думаю, что если бы не случилось революции, ты бы в своей Лапшевке, пожалуй, кулаком стал. Сам, может, ходил бы с грыжей, но уж работников-то наверняка в гроб вгонял».

Читатель, пристальный к прозе Тендрякова, сразу угадывает знакомый и важный в кругу авторских раздумий мотив. Мысль о невыгоревшей собственнической крестьянской душе тревожила Тендрякова — автора «Не ко двору», автора «Тугого узла». Она может прорасти, эта собственническая душа, в привычном скопидомстве Ряшкиных, искать своего исконного выхода в том, чтобы наживать малую толику, беречь по дедовским укладкам, калечить соседскую козу, пощипавшую огурчики... Она может «выходить боком»: в карьеризме Павла Мансурова — отзвук того напора, который был насильственно остановлен как напор социальный, как напор экономический, психологическую же и иную силу еще не утратил.

Очевидно, вот она, самая глубина спора, его сердцевина.

В «Коротком замыкании», разбитом на тридцать восемь главок, каждая из главок имеет философскую концовку, «отжимающую» смысл изображенных событий до плотности сентенций. Фраза о том, что из Ивана Капитоновича в прежнее время вырос бы кулак, поставлена именно в конце главки, на место резюме. Фраза сама по себе серьезная, ее положение заключительной фразы усиливает ее многозначительность. Кажется, завязан узел. Но это вроде узелка для памяти. Никакие нити повести в этот узел не сведены, ничего ни от него, ни к нему не тянется.

Просто помянут существенный для Тендрякова вопрос.

Так же помянуты и многие иные, тоже существенные для него вопросы. Мы помним, как настойчиво в романе «За бегущим днем» повторялось слово «время», слово «будущее». Здесь эти слова возникают с той же настойчивостью. Ими, этими словами, отбиты красная строка повести и ее заключительные абзацы: «Через пять минут Новый год, триста шестьдесят пять новых дней. Как их прожить? Стоит подумать», — наставительно напоминает нам автор. И сам момент аварии избран автором с обдуманностью. Новогод-

ний вечер — это не только ради того, чтобы контрастней сопоставить город в праздничной иллюминации, слешно заканчивающий дела, толпящийся в магазинах, — с тем же городом, застигнутым врасплох полной темнотой. Новогодний вечер — это прежде всего рубеж лет, их перевал. Думает о времени Иван Соковин, думает о времени Василий Васильевич, думает о будущем Вадим, ждущий звонка из роддома: жена рожает.

(У Тендрякова появилось странное при- страстие к философическим общеизвест- ностям; вот рассуждения Вадима: «Смерть и рождение — в этом не только прочность жизни, ее непрерывность, не- уклонность развития, в этом и сложность бытия. Не было б рождения, не было б и смерти, не было бы горя, не по чему тогда измерять счастье, оно бы отсутствовало. Мир состоит из вопиющих противополож- ностей, во вселенной рядом с космическим холодом — раскаленная плазма звезд».)

Слова «время», «будущее» расставлены в повести «Короткое замыкание» как слова опорные, они должны нести на себе кон- струкцию вещи. На самом же деле они ни- чего не несут. Как колонны в павильонах ВДНХ — это мнимые несущие, они не при- нимают распора сводов, стоят так себе.

Снова просто помянут существенный для Тендрякова вопрос.

В повести есть один мотив, одна сюжет- ная опора, которая действительно могла бы ее «держать». Речь о персонажах, которых мы упоминали уже не один раз: владельцы «москвича», муж и жена. Люди торопятся встретить Новый год, везут проигрыватель; неожиданно их просят подвезти довольно далеко, за город, на химкомбинат. Они ви- дят, что человек в самом деле в крайней тревоге, везут его. Сами они ни о чем не говорят, только прислушиваются, как рабо- тает мотор, спрашивают один другого, не постукивает ли... Пока они молчат, Тендря- ков — это звучит здесь как медленный го- лос за кадром — о них рассказывает, за них размышляет. «Они оба жили жизнью, которую принято похвально называть про- стой. И она действительно была проста, как то заснеженное поле, среди которого они сейчас ехали, — сколько ни оглядывайся ни вперед, ни назад, не на чем зацепиться. Он работал завхозом при автобазе, она учет- чницей. Все силы души, тела, мозга, все их время до последней минуты уходило на то,

чтобы себе заработать, себе купить, себя развлечь. И высшим жизненным успехом, приносящим им и радость и огорчения, был «москвич». Радость, когда можно вы- ехать за город, покататься, раскинуть на траве скатерку с закусками, отмыть до блеска машину. Огорчения, когда нерасто- ропный шофер грузовика помнет бампер... Они могли думать и беспокоиться друг о друге, но никогда еще им не приходилось волноваться и думать за других. И не по- тому, что они были от природы черствы, нет, никто от них не требовал, да, пожалуй, никто особо и не нуждался в их помощи. так же, как никому и в голову не прихо- дило упрекнуть их за простоту жизни.

И вот сейчас за их спиной кричал завод. Сейчас они, быть может, впервые помимо сознания были охвачены волнением за чью- то чужую непонятную беду... Кричал завод в снежной пустыне... Что-то стряслось, что- то появилось в эту минуту неизмеримо бо- лее важное, чем стучащий кардан или подозрительный писк в ступице колеса.

Можно замкнуться в своем доме, в своих личных делах, в заботах о «москвиче». Можно замкнуться и в своей работе. Это тоже может быть замкнутость: ходишь на службу, снимаешь табель... Происходит бе- да, и беда как-то расшатывает эту упроч- няющуюся с благополучием замкнутость.

Практически никакого подвига, даже ни- какого полезного поступка в тревожную ночь, когда погас город, владельцы «москви- ча» не совершают. Довезли Вадима, отъеха- ли, остановились. Потом повернули назад — туда, где пахло прорвавшимся газом и кричала о беде сирена. Но там они не по- надобились, уже опять дали свет, и «скорая помощь» уже увозила единственного по- гибшего. Что еще было? Перебаламутили понапрасну душу Ивану Капитоновичу, по ошибке решив, что погиб на комбинате именно их случайный попутчик, и отпра- вившись разыскивать его семью. Возли старшего Соковина в морг. Испуганно и терпеливо ждали у больничного подъезда. Потом обрадовались, что ошибка; съездили за Вадимом (тот все еще был на химком- бинате) и доставили отца с сыном до дому. Всё. Поехали дальше. «У хозяина «москви- ча» на широком лице счастливое облегче- ние. У хозяйки лицо смущенное, застенчи- вое и тоже счастливое». Эту главу — в нарушение заведенного — Тендряков не подытоживает рассуждением о том, что эти

люди были счастливы, в минуту общей беды приобщившись к ней. Здесь из рассказанного, из явленного живые не приходится выжимать вывод, тем более не приходится накладывать вывод поверх рассказанного.

Ночная поездка останется для хозяев маленькой машины воспоминанием, сходным с воспоминаниями Саши Дубинина о несчастье Яшки Сорокина или с воспоминаниями героини пьесы Александра Володина «Моя старшая сестра». Вспоминая голод и войну, детдомовскую юность, девушка с неожиданной тоской, силой, страстью спрашивает: неужели этого никогда больше не будет? Это тот же ход чувств, что в тендряковском «Коротком замыкании». Беда, заставляющая подставить другу плечо и почувствовать такое же дружеское плечо, готовое тебе в поддержку. Беда, при которой замкнутость — это уже подлое исключение, а товарищество и общность — норма. Конечно, мечтаешь не о том, чтобы повторилась беда, а о входящей в силу норме единения, норме неодинокства.

Но, торопясь вводить в материал рассказа новые и новые рассуждения, новые и новые утверждения, автор «Короткого замыкания» небрежен к тому, как эти новые рассуждения соприкасаются с соседствующими мотивами. Небрежность опасная. В частности, интереснейший мотив, разработанный в рассказе о владельцах «москвича», не только остается без отзвука, какой был бы ему нужен, но получает отзвук, его разрушающий.

Введен в числе постоянно интересующих Тендрякова вопросов вопрос о переживаниях. Мать говорит Вадиму, грустящему о погибшем на химкомбинате парне: «Не сможешь... К чему?.. Одни пустые переживания». Следует абзац: немного мысли Вадима, больше — мысли автора. «Не сможешь? Пустые переживания? Саньке действительно ничем не сможешь, но переживания никогда не проходят бесследно. Они заставляют думать, они делают человека мягче, отзывчивее, глубже. А разве этого мало? Разве это пусто? Шарахаться от переживаний, стыдиться их — обкрадывать себя, а вместе с собой и всех».

И через какое-то время (опять на итоговом месте, в финале очередной главы): «Пусть будут переживания, они не проходят даром...»

Переживания, как мы уже видели, «пошли на пользу» Дудыреву в «Суде». Если бы Иван Капитонович Соковин не съездил — по ошибке — в морг, не пережил бы нравственного потрясения, он не поехал бы утешать обиженного им неисправного подчиненного (и родственника). По-видимому, так же обогатились внутренне и радуются именно своему душевному обогащению владельцы «москвича»? А поначалу ведь шло к выводам более серьезным...

Мысль об облагораживающей роли переживаний кажется Тендрякову важной. Он спешит ее выразить. Притом не замечает, в какой сюжетный контекст ее ставит.

Трещина между логикой авторских рассуждений и логикой сюжета расходится так далеко, что в нее начинают обваливаться существенные для Тендрякова мысли.

В ночь, когда стряслась авария, Вадим Соковин стоял над трупом своего одногодка, рабочего парня Саньки Горяева, и думал: «Нелепая несправедливость: отец Вадима, чтобы спасти город, должен был убить Саньку. Нельзя винить отца!..»

В ту минуту, когда отец отдавал приказ, — он не был виновен. Минута безвыходная, замешкайся, не решишь, она так или иначе привела бы к более тяжелым катастрофам, быть может, к более тяжелым жертвам. Но ведь не только в эту минуту, а всегда отец считал: прежде всего проблема... Кто, как не он, возражал, чтоб тут, при комбинате, строилась ТЭЦ... Нерационально! Не выгодно! Не выгодно? Но какими выгодами окупишь теперь смерть Саньки Горяева? Лежит Санька, задрав подбородок...» Лежит Санька — тяжелый довод в споре.

Иван Капитонович сам молчаливо признает себя виновным. Виновным во всем сразу. И в том, что погиб Санька. И в том, что его подчиненный Василий Васильевич под его властной рукой рос несамостоятельным, безынициативным.

По логике рассуждений, по логике социологической — именно такую двойную вину и надо было доказать. А по логике сюжета выходит уже нечто трагикомическое.

Иван Капитонович признан виновным в смерти Саньки, потому что он, Иван Капитонович, слишком решителен, слишком привык мыслить «масштабно», не видит живых людей и не берет их в расчет. Иван Капитонович признан виновным также в том, что его подчиненный Василий Васильевич

нерешителен, не привык мыслить масштабно, слишком многое берет в расчет. Иван Капитонович виновен в том, что убил Саньку. Иван Капитонович виновен также в том, что Василий Васильевич не решился убить Саньку на полчаса раньше. Ведь Василий Васильевич убил бы Саньку на полчаса раньше, если бы Иван Капитонович вырастил его инициативным...

Куда ни кинь...

Клима бы не было — очевидно, — если бы, с одной стороны, Иван Капитонович согласился бы на нерентабельное строительство ТЭЦ при химкомбинате (забота о людях) и, с другой стороны, воспитал бы рядом с собою деятельных, смелых работников (доверие к людям).

Но ведь в час, когда произошла авария на линии и пришлось на время погрузить город в темноту, могло быть любое иное несчастье. Мог умереть больной на хирургическом столе, лежавший со вскрытой грудной клеткой, — не может же хирург оперировать при спичке! Маневровый паровозик, который врезался в электричку, остановившуюся в неполюженном месте, мог бы убить того же Саньку, ехавшего из-за города на новогоднюю вечеринку, или любого другого Саньку. Обязан ли Иван Капитонович создавать подстанцию при больнице или при железной дороге? А закозление электропечей? Это ведь тоже грозит жертвами?

Из размысленной обдумывающего виновность своего отца младшего Соковина мы выпустили было одно звено. Восстановим его. «Нельзя винить отца! Нельзя... Но человек-то мертв. Думал ли отец об этом, когда отдавал приказ? Отец не новичок в энергетике, он предугадывал, он знал. Но знать — значит ли думать? Он спасал положение, решал проблему».

Так вот что, оказывается, надо было делать Ивану Капитоновичу! То же самое,

что он сделал (это ведь неопровержимо доказано в повести), но при этом думать о Саньке (о возможности любого Саньки, о возможности человеческой жертвы). Нужно было переживать. Что способствует смягчению нравов, как мы уже знаем. «Шарахаться от переживаний... — обкрадывать себя».

Оказывается, чего Ивану Капитоновичу не хватало? Иван Капитонович обкрадывал себя, отказывал себе в горечи раскаяния, в утонченной боли угрызений, в остроте минутного сомнения. В результате — обеднял свой духовный мир...

Сюжет не безразличная среда, пропускающая непреломленными существующие отдаленно, вне сюжета, мысли автора. А Тендряков в «Коротком замыкании» перестает считаться с этим. Перестает считаться и с такой простой вещью: читатель всегда больше убежден плотью художественной вещи, всегда больше убежден непосредственно написанным писателем, чем писательским же комментарием к написанному. И если, скажем, написан человек, который в праздничных узких ботинках среди ночи вылетает на место аварии, — хоть ты что, а мне, читателю, этот человек будет всегда симпатичней тех, кто, сидя дома, о нем рассуждает и философствует.

Безусловно, существует логика решения проблем. Но существует и логика построения художественной прозы. Проблема, введенная в прозу, должна держать собою художественную конструкцию вещи, а не наваливаться на нее сверху; иначе плохо и для проблемы и для прозы.

Разлад между Тендряковым-проблемистом и Тендряковым-прозаиком во вред им обоим.

И здесь можно повторить только то, что уже сказано вначале: Владимир Тендряков — не просто «читаемый» автор. От него ждут немало. Его любят очень серьезно. И тревожатся за него...

